

ЗИНАИДА ГИППИУС

КОМЕТА

Зинаида Гиппиус

Комета

«Public Domain»

1897

Гиппиус З. Н.

Комета / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1897

«Детство, менее раннее, – менее мило. Оно яснее, ближе: образы не так волшебны и туманно-велики. Но, как и первое, изумленное сознание простых предметов мира в самом далеком детстве, с рук няньки, – поразительны и первые мысли дальше взора, первое ощущение вечной непонятности, удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после конца...»

© Гиппиус З. Н., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

I	5
II	7
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Зинаида Гиппиус

Комета

I

Детство, менее раннее, – менее мило. Оно яснее, ближе: образы не так волшебны и туманно-велики. Но, как и первое, изумленное сознание простых предметов мира в самом далеком детстве, с рук няньки, – поразительны и первые мысли дальше взора, первое ощущение вечной непонятности, удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после конца. Хочу говорить теперь об этих первых непредметных чувствах и мыслях непервого детства. Мы их считаем не стоящими внимания, а они только страннее, необычнее, ближе к истинному – ведь они ближе к своему началу, чем мысли давно родившегося человека. Такой человек стоит на середине пути, ему равно далеки оба острия жизни, а мудрость только там. Я не знал этого в то время, и мне казалось, что между мной и взрослыми не должно быть особенной разницы. К тому же рос я один, без сверстников, и мать моя никогда не говорила со мною, как с ребенком, а как с человеком равным. Если я не понимал и спорил, она долго и серьезно объясняла мне и прибавляла: «Вот так мне самой кажется. Почему ты думаешь, что я ошиблась?»

Мы жили в большом провинциальном городе, с крутыми улицами и скверной, скверно называющейся, рекой. Дом наш был двухэтажный, кирпичный, с прозрачной балюстрадой на крыше. Этой балюстрадой я гордился и любил отходить от дома, гуляя, так, чтоб она была видна. Внизу жила хозяйка с сестрами. У хозяйки, старой и толстой, был рак на носу. Когда я увидел ее в первый раз, нос был обвязан и казался огромным, страшным. Потом мы пошли вниз на первый день Пасхи. Пахло сдобными крошками, ветчиной, сохнувшим сладким творогом и приторными польскими мазурками. А хозяйке к тому времени сделали операцию, и у нее был прехорошенький маленький носик, немного согнутый вниз, и только на переносице лежал кусочек легонькой ватки. Хозяйка мне казалась красавицей, и я думал о том, как она должна быть теперь счастлива.

Я, впрочем, тоже был счастлив, потому что мне подарили игрушечный зверинец, и в нем я полюбил коричневую, слегка мохнатую, сидячую обезьяну, которую я тотчас же отделил от прочих зверей, уложил в вату и вначале ласкал пальцем. Я знал, что я потом привыкну к ней – потому что она все-таки моя – и разлюблю, и это меня огорчало, – так мне было приятно любить ее. Я очень любил мать. Я так ее любил, что даже не видел ее лица, не знал, хороша ли она или дурна, и каждое ее свойство, каждая ее черта, казалось мне, были равно необходимы для моей любви. Но она тоже меня любила, целовала меня, говорила со мной, могла пустить или не пустить гулять, подарить или не подарить игрушку, и я чувствовал, что люблю ее иногда за то, что она пускала гулять и дарила игрушку, чувствовал тоже, что это любовь «навечная» и была у меня еще тогда, когда я ни о чем не думал, пожалуй, еще раньше меня самого была – и потому любить мать казалось мне особенно обыкновенно и нисколько не приятно.

Этой же, неприятной, любовью, хотя гораздо меньшей и с оттенком товарищества, я любил мою няню Полю. Полю я всегда помнил около себя. Она была кругленькая, молоденькая, низенького роста, с широким утиным носом, розовая, несмотря на веснушки, милостивая и веселая. Темные волосы вились легкими кольцами около ушей. Вот, я любил и Полю. Но Поля тоже была мне нужна, она играла со мной и надевала мне чулки, а обезьяна была, во-первых, новая, сразу взявшаяся, а, во-вторых, немая, не могущая явить мне ни благодарности, ни расположения, и я любил ее сам для себя, и в этом было что-то таинственное. Я не играл в обезьяну, днем я только сидел над нею, сладко томясь и не зная, что с нею делать, а вечером засыпал с радостным сознанием, что она у меня есть и что больше мне от нее ничего не нужно.

Потом я стал отдаляться от обезьяны, находя, что я слишком часто смотрю на нее, а это тоже уж не то. Я по целым дням не открывал коробочки с ватой, где она лежала, и наслаждался только мыслью о ней. И никогда так сильно и приятно ее не любил, как в то время. Мне было больно разлюбить, забывать любовь к обезьяне. Но в это время отец принес мне номер «Нивы». Там была картинка: озеро с нависшими ивами, лодка, и в лодке девушка в белом платье странного фасона. Мне понравилось и озеро, и девушка. Я унес картинку к себе.

II

Мы сидели за обедом и ели рябчиков.

Отец мой (я его видел редко и относился к нему с равнодушием) только что вернулся из «Палаты» и о чем-то с оживлением рассказывал матери. Я никогда не слушал этих рассказов. Он говорил точно о не об общем, а о том, что касалось только его и могло быть понято им одним, а вовсе не всеми людьми. Я удивлялся, что мать слушает эти, ничего незначащие для нее слова. Я равнодушно болтал ногами и следил, как отец, в пылу разговора, и повторяя: «... А он в это время пишет ему: так-то и так-то...», – проводит вилкой быстро по скатерти, зубцы вилки цепляют скатерть и оставляют на ней чуть заметный шероховатый след.

Так как черную Машу, горничную, недавно рассчитали за грубость, то прислуживала Поля. Желтое ситцевое платье у нее шуршало, на груди топорщились оборки передника, раскрасневшееся лицо в веснушках выражало усердие. Я смотрел, как она поднесла блюдо к моему отцу и ждала, пока он долго присматривался и выбирал. Поля устала держать, и тяжелое блюдо слегка колебалось. Наконец, я увидел, как отец взял кусок. Кожа, прожаренная и сдернутая, слегка обнажала белое, нежное, как пух, мясо. Я еще поглядел на отца, на Полю, на рябчика, и вдруг такие смешные мысли пришли мне в голову, что я не удержался и усмехнулся громко. Отец не любил, чтобы хохотали беспричинно, а я не любил с ним разговаривать, поэтому я поскорее закрыл рот рукою и сделал вид, что никуда не смотрю.

Но отец уже заметил и, обратившись ко мне, строго спросил:

– О чем ты?

У меня было большое желание сказать: «Так», или совсем ничего не сказать, но это представлялось невозможным. Мать говорила мне, что лгут только дети, и дурные дети притом, а что так как я никогда не лгу, то она и обращается со мною, как с равным. Единая же неправда могла превратить меня в ребенка, и мама перестала бы смотреть на меня, как на человека.

– Смешные мысли пришли в голову, – сказал я. Отец недовольно кашлянул.

– Какие же это такие мысли?

Хотя мне и не хотелось говорить с отцом, но в эту минуту я опять вспомнил свои мысли и засмеялся.

– Люди ошибаются, – сказал я. – Вот, мама мне рассказывала... Я не спорил тогда, но я уж видел, что оно не так. Я и прав, а она не права.

– Да в чем дело? – нетерпеливо крикнул отец.

– Что это ты кричишь, папа? Я и так скажу. Если ты мне не веришь, – прибавил я с достоинством, – то можешь у мамы спросить, она здесь. Только странно, если ты мне не веришь. Я не начинал разговора, но если ты хочешь знать, то вот: мама мне как-то объясняла, что все творения Божий равны. И хотя сразу видно, что они не равны, но это будто бы только кажется, а внутри все равны. И что Бог справедлив. А я смотрел, как все делается, и подумал: где же равны? Одно творение за столом сидит – это ты, папа; другое ему подает, служит – это Поля; а третье творение сжаренное, его едят – рябчик. Вот я и подумал: значит, неравны, потому что если б равны – то несправедливо. Я маме это хотел после, без тебя, сказать.

Мама рассердилась, к моему изумлению, больше отца.

Я хотел начать с ней спор, но она велела мне молчать. Я не обиделся, потому что правда была на моей стороне, только пожал плечами и, когда кончился обед, безмолвно пошел в гостиную, в угол к окну, и расположился там в кресле. Гостиная отделялась от залы деревянной аркой, но меня не было видно из моего угла. Я спокойно лежал и, уже забыв о равенстве и неравенстве, размышлял, почему с наступлением августа стали мимо нас возить все больше и больше гробов, что такое холера, и отчего люди боятся смерти и мертвецов? В прошлом месяце у нас умер кучер Андрей. Я ходил его смотреть в дворницкую, и он мне очень понра-

вился. Живой он был красный, слюнявый, почти всегда пьяный, с налитыми кровью глазами. Он вечно беспокоился, был недоволен и ругался хрипящими и рокошущими словами, которые все называли неприличными и которые ему самому были, очевидно, неприятны. Теперь же, умерший, он лежал белый и спокойный, и такой красивый, каким еще никогда не бывал. На вид он казался необыкновенно довольным, и я порадовался за него. Что же касается до ада, куда Андрея будто бы пошлют, то этому я положительно не мог верить. Неужели Бог, который добрее всех людей, согласился мучить Андрея вечно за неприличные слова и за водку? Это бы и человек помучил да и простил. А не то что Бог. Бог сразу простит, это и говорить нечего.

Мои размышления были прерваны голосом отца, который из-за стола пришел с сигарой в залу, прогуливался там из угла в угол и спорил с матерью. Она, я знал, сидела на своем обычном месте, за рабочим столиком.

– Это совершенно невозможно, – говорил отец. – Ты из него сделала урода. Разве это ребенок? Ему нужно в бабки играть да порки бояться, а ты чуть с ним не на вы, рассуждаешь с ним Бог знает о чем, вбила ему в голову, что он человек, когда его от полу не видать, скоро бояться его станешь... Раскаешься, да поздно. Этого, друг мой, твоего философа да неженку товарищи в гимназии так дуть будут, что вряд ли у него голова на плечах останется. Книжки ему все даешь читать, да еще объясняешь! Ну разве он может их понимать?

Мама что-то возразила, но тихо, и я не расслышал. Кстати сказать, я был вовсе не неженка, рос здоровым и крепким мальчиком, большим не по летам.

Отец, однако, еще говорил, я перестал было слушать, но вдруг новое слово привлекло мое внимание.

– Как хочешь, матушка, в пансион – так в пансион. Я, пожалуй, согласен, что в гимназию ему рано. Всякая перемена ему полезна. Твоя система воспитания мне кажется нелепой, извини меня, хотя я и дал слово не вмешиваться. Например, это убеждение, что такому малышу возможно всегда давать правдивые объяснения! Мало ли он о чем будет спрашивать! Нет, детям лгать надо! Не бойся, они всему верят.

– Вон оно что! – подумал я обиженный. – Лгать! Хорош большой человек! Никогда не стану с ним говорить.

– Не могу я этого, – отвечала мама. – Не стану перед ребенком унижаться. Что я знаю, то и он может знать. Нисколько он не глупее меня, только неопытнее. Ради этого я и учу, и объясняю, сколько умею. Но я готова сделать тебе уступку, я отдам его в пансион Артемьевой, моей подруги. Мы вместе учились в Москве, хотя она в старших классах была. Лидии Ивановне я доверяю, а Вите следует повидать людей, поучиться не одному.

– Еще не захочет он в пансион, упрашивать придется, – начал отец насмешливо.

Но тут я, устав подслушивать (ужасно это мне не нравилось), вышел из гостиной.

– Извините, папа, мама, – сказал я. – Я нечаянно слышал, что вы говорите. Я хотел выйти, но потом, не знаю как, остался и слушал. Отчего ты думаешь, папа, что я не захочу в пансион? Я маме доверяю, и если она хочет, то пусть я иду в пансион. Я тебя огорчил, что сравнил с рябчиком, но ты тоже, папа, не прав передо мной. Потому что я не хочу тебя обманывать, а ты хочешь.

Папа хотел опять рассердиться и закричать, но мама в эту минуту притянула меня за рукав, поцеловала и сказала строго:

– Довольно разговоров и ссор. И ты не прав, ты подслушивал. Ступай к Поле, играй или читай. О пансионе мы поговорим.

Я тотчас же выбежал и не слышал больше слов отца. В детской Поля не было. Я лег на стол, подпер голову руками и, напевая, смотрел на улицу в окно. Там светило желтое солнце, бежали собаки, шли и ехали люди. Пронесли белый гроб, и он долго колебался над головами людей без шапок, а лучи солнца блестели в кистях. Я думал о пансионе, о маме, о Поле и о гладком глиняном кувшинчике, который Поля мне принесла вчера. Я полюбил кувшинчик,

положил его в ямочку под подушку и радовался теперь мыслью, что он у меня есть. Я думал о том, какие люди счастливые и как хорошо им жить. С самого начала в раю ангельчиками, – это я знал твердо. Потом рождаются, растут, начинают вес видеть и понимать. Могут любить, как я маму и Полю, и их любят. Есть еще разные обезьянки, кувшины, картинки – их можно любить особенно, радоваться, что они далеко. Неприятно, правда, разлюбить, – но опять что-нибудь найдешь и полюбишь. А потом придет смерть, сделаешься спокойным, белым, красивым, и понесут тебя с почетом в блестящем гробе. Бог простит, если делал нехорошо, и опять будешь в раю. И у меня даже в груди сжалось от радости, что я тоже человек, и тоже счастлив, как и все люди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.